

*Северный ветер: Чужие  
руки*



Максим Канев

Максим Канев

**Северный ветер: Чужие руки**

«Автор»

2026

**Канев М.**

Северный ветер: Чужие руки / М. Канев — «Автор», 2026

Бывший охотник, а ныне чиновник Юрий Кырнышев уже три года носит чужую шкуру - служит уполномоченным по пушнине в глухой Коми деревне на реке Ижма. Осенью в 1940-го в его жизнь врываются сразу две беды: у невесты брата пропал в 37-м отец, и без справки о его "чистое" свадьбу не разрешат; а в лесу объявляется девушка из прошлого, Ира, скрывающаяся от стыда и людей. Когда из района приезжает проверяющий с водянистыми глазками ищeyки, Юра понимает: чтобы помочь своим, нужно играть по правилам системы - но своей игрой.

© Канев М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

15

# Максим Канев

## Северный ветер: Чужие руки

### Глава I.

Туман над Ижмой вставал уже не белесым, а свинцовым, тяжелым, как намокшая вата. Он прилипал к почерневшим от сырости стенам изб, заползал в щели между кривыми брёвнами, цеплялся за пожухлую крапиву у покосившихся заборов, превращая её в призрачные острия. Осень 1940-го выдалась холодной и сырой — будто сама природа, уставшая от людской суеты и тревожных предчувствий, что витали даже в этом глухом углу, решила поскорее свернуться в зимний кокон и забыться долгим сном.

В конторе уполномоченного по пушному промыслу Ижемского района пахло холодной печкой, пылью и безнадёгой. Сам уполномоченный, Юрий Дмитриевич Кырнышев, сидел за грубым, сколоченным из топорных досок столом, что занимал добрую половину бывшей горницы. Эта комната раньше была домом Сергея Петровича, купца второй гильдии, а теперь её выбелили дешёвой известью, но не смогли извести дух былого достатка, превратившийся в запах казённой, затхлой тоски. Свет от коптилки, чадившей на столе, дрожал и выхватывал из полумрака стопки бумаг: отчёты о сданной пушнине с печатями сельсоветов, планы на следующий квартал с размашистыми красными цифрами «сверх», сводки из Печоры о путине и о том, что «настроение среди рыбаков устойчивое». Цифры. Вечные, бездушные цифры, выстроенные в ровные колонки. Но Юрка давно научился читать их не как учёт, а как исповедь, написанную кровью и потом. За каждой сотней шкурок песка или белки — чья-то одинокая зима в промёрзшей землянке на окраине тайги, хруст сухаря в окоченевших пальцах, долгие ночи у лучины и немудрёная надежда выменять в конце сезона на сдаточном пункте хоть немного соли, муки, плитку чаю. За каждой недоимкой по плану — чья-то беда, болезнь, сломанная ловушка или просто удача, отвернувшаяся лицом к лицу с голодом.

Он отложил перо с засохшими на пере чернилами, потёр переносицу, чувствуя, как под веками нарастает тягучая, свинцовая усталость. Спустя три года после той лихой и тёмной истории с Белым, после тихой свадьбы на Любе, после неожиданного для него самого назначения, он всё ещё чувствовал себя чужим за этим широким столом. Не физически — тело приспособилось. Шрам на плече, подарок старого врага, ныл лишь к ненастью, хромота от касания почти сошла, лишь слегка подволакивал ногу, когда уставал. Но внутри, в самой глубине, где раньше жила ясная, звериная уверенность охотника, что знает лес и своё место в нём, теперь постоянно что-то сверлило, точило. Будто он, волк по духу, надел на себя неуклюжую, тесную шкуру казённого чиновника, и эта шкура мешала дышать полной грудью, сжимала рёбра, заставляла говорить чужие, казённые слова.

Тишину, нарушаемую лишь потрескиванием фитиля и шуршанием мыши за плинтусом, разрезал резкий скрип петли. Дверь, покоробившаяся от сырости, отворилась, впустив с улицы клубящуюся стужу и её.

Люба. Завернутая в большой шерстяной платок с бахромой, накинутый прямо на поношенное, но чистое пальтишко. С мороза, от которого даже брови слегка посеребрились инеем, на её скулах горели два ярких, юных пятна румянца, что странно контрастировали с усталой мудростью в глазах. Она вошла, плотно притворила дверь спиной и остановилась на пороге, окидывая его быстрым, всепонимающим взглядом — от зальсины на лбу, проступившей за эти три года, до неподвижной руки на бумагах.

— Забыл, наверное, что дома дети ужина ждут, — сказала она без упрёка, просто констатируя факт, голосом, который стал тише, глубже и спокойнее за эти годы, как вода под льдом: поверхность ровная, но сила течения огромна и невидима.

В её интонации он услышал не только напоминание об ужине. Услышал запах дымящейся картошки в чугунке, приглушённый гомон дочек — Машки, упрямой и шумной, как он сам в её годы, и тихой, вдумчивой Алёнки. Услышал тёплый мрак их избы, где нет этих бесконечных колонок и печатей, а есть лишь жизнь, простая и требующая его присутствия не на бумаге, а вот здесь, сейчас. Этот голос был якорем, брошенным с того, настоящего берега, на который он всё никак не мог ступить, увязая в трясине отчётов и планов.

Он не ответил сразу, лишь снова потёр лицо ладонью, и в этом жесте была вся накопленная за день усталость. Свинец тумана, казалось, просочился и в эту комнату, отяжелив воздух.

— Не забыл, — наконец сказал он глухо, отводя взгляд к потускневшему окну. — Просто... вот. Не сходится. — Он ткнул пальцем в столбцы цифр, будто обвиняя их. — По отчёту Тарасова со Степанидой — тридцать пять белок. А в сводке из Печоры по приёмке — тридцать две. Куда три шкуры делись? Или Тарасов припозднился с охоты и привез потом? Или в Печоре вписали в ведомость с потолка? Или на перегроме кто снял... Каждая шкурка — ему пачка махры, детям — горсть сахара. Вот и сижу, складываю да вычитаю чужую жизнь.

Люба молча сняла платок, отряхнула его. Капли растаявшего инея упали на половицы темными точками. Она подошла к печке, потрогала её тыльной стороной ладони — холодная, конечно. Вздохнула, но не с упреком, а с тем спокойным принятием, которое за три года научилось обходить острые углы.

— Детям твои три шкуры сейчас не нужны, — сказала она мягко, но твёрдо. — Им папа нужен. Который не цифры складывает, а сказку расскажет. А Тарасов... Тарасов мужик бывалый. Не пропадет. И шкуры свои не потеряет.

— Я-то знаю, что бывалый, — пробурчал Юрка, но уже с меньшей горечью. Её простые слова, как всегда, рассекали сложный клубок его мыслей. — А вот бумага не знает. Ей черным по белому подавай.

Люба подошла к столу, заглянула через его плечо. Её дыхание, еще холодное от улицы, коснулось его щеки.

— Ишь ты, какая ровная цифирь, — тихо произнесла она, и в её голосе послышалась едва уловимая насмешка над этой мнимой точностью. — Будто жизнь по линейке живут там, в Печоре. Ты тут голову ломаешь, а там, гляди, приемщик Митька, у него с похмелья рука дрогнула, тройку вместо пятёрки вписал. И поехала вся твоя арифметика плясать. Юрка невольно хмыкнул. Она всегда умела найти самое простое, житейское объяснение, которое даже в голову не приходило, закопанному в бумагах. Он представил этого Митьку, вечно красноглазого, и вдруг абсурдность всей этой сидячей каторги предстала перед ним в новом свете. Он сражался с тенями, составленными из чернильных клякс и чьих-то неверных рук.

— Пойдём, Юра, — снова сказала Люба, и на этот раз её голос звучал как приказ, от которого не отмахнуться. — Суп в печи дотлевет. Машка сегодня букву «М» как мельницу нарисовала, целую историю придумала, как эта мельница муку для нашего хлеба молола. Ждёт, чтобы показать. Он закрыл глаза на секунду. Перед ним всплыло не лицо дочери, а тот самый столб цифр. Но теперь он видел за ними не только обмороженные пальцы Тарасова, а еще и свою Машку, с карандашом, упрямо вцепившимся в кулачок, рисующую эту дурацкую, чудесную мельницу. Один мир требовал от него бесконечного, тоскливого счёта, другой — простого присутствия. И лишь здесь, в этой точке, они сталкивались с неумолимой силой.

— Ладно, — сдавленно выдохнул он и резко поднялся, отодвинув табурет. Нога, действительно, кольнула — к ненастью. — Идём. На, помочи перо, чернила кончаются.

Он потушил коптилку, и комната мгновенно погрузилась в густой, почти осязаемый мрак, лишь чуть сереющий от света в окне. Они вышли на крыльцо. Туман обнял их плотным, влажным саваном, сразу пробирая до костей. Запах мокрой древесины, дыма из труб и прелой листвы ударил в нос после конторской затхлости как глоток свободы. Люба снова взяла его под руку, прижалась плечом. Шли медленно, не потому что он прихрамывал, а потому что в этом движении сквозь молочную мглу было что-то от возвращения домой после долгого и трудного пути.

— Чужая шкура, говоришь, — вдруг, уже почти у своего забора, проговорила Люба, словно продолжая его давнюю, невысказанную вслух мысль. — А по-моему, ты свою просто нарастил. Охотничья — та, что лёгкая, на одного тебя. А эта — потяжелее, на семью, на район, на ответственность. Она не душит. Она греет, если к ней привыкнуть. И детей наших согреет.

Он не нашёл, что ответить. Просто крепче прижал её руку к своему боку, где под телогрейкой лежал старый шрам. В окне их избы, сквозь заиндевевшее стекло, тускло, но упрямо светился огонёк. Не коптилка учёчика, а живой, домашний свет. Туман цеплялся за них, пытаясь удержать в своей бесформенной пустоте, но они уже переступили порог своего двора, и твёрдая земля под ногами, знакомый скрип калитки — всё это было настоящим, своим. Цифры и сводки остались там, в холодной комнате с запахом тоски. А здесь, в сгущающихся сумерках, их ждала простая, страшная и прекрасная правда горячей похлёбки, дочкиных рисунков и тихого слова «дома».

Дверь в их избу не скрипела — Люба смазала петли гусиным жиром еще осенью. Она отворилась, и Юрку, как всегда, окатила волна плотного, сытного тепла, пахнувшего ржаным хлебом, томлёной в печи репой и сушёным можжевельником, что подбрасывали в огонь для духу. Холод и туман остались сзади, словно отсечённые.

— Бате гортын!<sup>1</sup> — раздался радостный, пронзительный крик, и из-за стола, покрытого домотканой скатертью, сорвалась, как пущенная из лука стрела, Машка. Невысокая, крепенькая, в простом платье, с двумя взъерошенными светло-русыми косами, которые вечно расплетались. Она врезалась в Юрку, обхватив его за ноги, и запрокинула круглое, веснушчатое лицо с глазами, сиявшими, как два лесных озерца под солнцем. В них не было ни капли той свинцовой тяжести, что висела над Ижмой. — Смотри, бате, смотри! — она, не отпуская, потянула его к столу, где на листе оберточной бумаги красовалась та самая мельница. Она и правда была похожа на стог сена с крыльями, а вокруг, в небрежных, уверенных линиях, петляли дороги, стояли деревья и фигурки людей с огромными, по-детски подробными руками.

— Молодец, нывка<sup>2</sup> менам, — хрипловато сказал Юрка, и его рука, привыкшая сжимать перо или приклад, легла на её горячую от возбуждения головку. В этом прикосновении было что-то от возвращения домой не только в дом, но и в самого себя. — Сильная мельница. Ветру хватит.

— Я ей имя дала — «Кыдзь пу мельнич<sup>3</sup>», — с гордостью сообщила Машка. — Потому что она добрая, муку для всех мелет.

За столом, не вставая, сидела Алёнка. Старшая, тихая. Ей было уже восемь, и в её лице, более смуглом, чем у сестры, с тёмными, спокойными глазами Любы, была уже не детская, а какая-то очень старая, внимательная серьёзность. Она аккуратно доедала ложкой похлёбку и смотрела на отца не бурной радостью, а глубоким, оценивающим взглядом. В её молчаливом приветствии было больше понимания, чем в сотне слов.

— Здравствуй, бате, — тихо сказала она, и это «бате» прозвучало у неё по-взрослому, почти как у Любы.

---

<sup>1</sup> Отец дома! (На Коми языке)

<sup>2</sup> Дочь, дочка (На коми языке)

<sup>3</sup> Берёзовая мельница

— Здравствуй, нылукёй<sup>4</sup>, — кивнул Юрка, садясь на своё место во главе стола. Дубовое, прочное, отцовское место. Оно тоже когда-то казалось ему чужим.

Люба уже разливала по мискам густую, дымящуюся уху. Тихое потрескивание лучины в железном светце было единственным звуком на минуту.

— А почему мельница добрая, а волк в лесу злой? — вдруг спросила Машка, устроившись рядом с отцом и уткнувшись локтями в стол. Её ум, острый и непоседливый, уже перескочил с рисунка на вечные вопросы.

— Волк не злой, — не задумываясь, ответил Юрка, отламывая кусок хлеба. — Он голодный. У него своя правда: оленя догнать, щенков своих накормить. Как и у человека.

— А если он на человека пойдёт? — не унималась Машка.

— Тогда человек будет защищаться. У него своя правда: дом, семья, жизнь. Правда на правду находит. И кто сильнее духом, тот свою и отстоит.

Алёнка подняла глаза от миски. — А у тебя, тятя, какая правда?

Вопрос повис в воздухе, звучный и недетский. Люба перестала двигаться у печи, слушая. Юрка почувствовал, как внутри всё сжимается. Он посмотрел на свои руки — ещё крепкие, но уже не такие быстрые, как у промысловика. На бумаги, оставшиеся в конторе. На лицо жены, отражавшее огонь. На дочек.

— Моя правда... — начал он медленно, подбирая слова, как когда-то подбирал след на пороше. — Моя правда — чтобы у вас, у челядьёй<sup>5</sup>, правда была простая. Чтобы хлеб был на столе. Чтобы в школу могли ходить, а не в лес по нужде с пяти лет. Чтобы волк — тот, что на двух ногах, — к нашему забору не подходил. Вот и вся правда. Она в четырёх стенах.

Он сказал это, и вдруг осознал, что это не ложь и не уход от ответа. Это был перевод его внутренней смуты, того сверлящего чувства, на язык этого дома, этого тепла. Его новая «шкура» уполномоченного, тяжёлая и неудобная, была одним из инструментов защиты этих четырёх стен. Может, и не самым лучшим, но единственным, что ему дали.

Наступило тихое, понимающее молчание. Его прервала Люба, поставив перед ним глиняную кружку с травяным взваром.

— Правду свою доел бы сначала, — сказала она с лёгкой улыбкой в уголках губ. — А потом... — Но мый челядь, ветлам дед-баб дорё?<sup>6</sup>

Машка мгновенно встрепенулась, забыв про волков и мельницы. Алёнка тоже подняла глаза, и в них мелькнул оживлённый интерес. К деду Митрею и бабе Ольпе, родителям отца, ходить было особым делом. Их изба, хоть и стояла в том же селе, была для девочек царством иных законов и иных запахов — не только хлеба и дыма, но ещё и кожи, дегтя, старых книг с расплывшимися буквами и сушёных кореньев, висевших пучками под потолком. Там пахло самой Историей, корнями их фамилии.

— Ветлам!<sup>7</sup> — хором, с искренним, звонким восторгом выдохнули они.

Сборы были недолгими. Юрка, уже в полной темноте, с фонарём «летучая мышь» в руке, вышел вперед. Они шли по утоптанной тропинке цепочкой сквозь непроглядную, влажную пелену. Свет из окон родительского дома, низких, с маленькими стёклами, казался не просто светом, а самым дыханием того, что не меняется, не подвластно ни планам, ни отчётам. Здесь всё было таким же, как двадцать, тридцать лет назад.

Дверь им открыл сам Митрей. Высокий, сухой, как старая сосна, он казался частью сруба — такие же крепкие, просмоленные временем линии лица. Он молча отступил, впуская их в волну густого, пахнущего печным жаром, заварным ивовым чаем и вошеной кожей воздуха.

---

<sup>4</sup> Уменьшительно-ласкательная форма слова дочка

<sup>5</sup> Дети (На коми языке)

<sup>6</sup> Ну что дети, сходим к бабушке с дедушкой?

<sup>7</sup> Сходим!

— Забрели, — произнёс он голосом, похожим на скрип старого дерева. В этом не было вопроса, было спокойное признание факта.

В горнице, у печи, в низком кресле, сбитом из корня и жердей, сидела Ольпа. Она не вязала, как часто можно было застать, а просто сидела, положив на колени руки, крупные, узловатые от работы, но теперь покоящиеся. Её лицо, изрезанное морщинами, похожими на русла малых рек на карте, озарилось внутренним светом при виде внучек.

— А, мои пташки прилетели, — сказала она, и голос её, глуховатый, был полон бездонной, тихой нежности. — Идите ко мне, грейтесь. Холодно нынче, земля стынет.

Девочки, сбросив верхнюю одежду, рванулись к ней. Машка сразу же уткнулась в её колени, а Алёнка присела на корточках рядом, положив голову на бабкину руку. Здесь они позволяли себе быть абсолютно маленькими, защищёнными двойной силой — родителей и этой древней, родовой любви. Юрка присел на лавку у стола, чувствуя странное смешение чувств. Здесь он снова был просто «Юркой», сыном, а не «уполномоченным Митреевым». Это возвращение в детство было одновременно исцеляющим и горьким. Он видел во взгляде отца немой вопрос, тот самый, что сверлил и его самого: «Справишься?».

— Чай будете испивать?, — сказал Митрей, поставив на стол чугунный, почерневший от времени чайник. — Не магазинный, свой, ивовый. Для суставов. И для дум тоже.

Они пили чай, густой, терпкий, с горчинкой. Молчание было не неловким, а насыщенным. Его нарушила Ольпа, глядящая рукой по волосам Машки.

— Что, дитятко, в школе проходили?

— Про осень. Стишок учили, — оживилась Машка. — «Листья желтые над речкой кружатся...» Только у нас речка уже под стеклом, а листья все в грязи. Не так красиво.

— Красота она разная бывает, — тихо сказала Ольпа. — И в грязи лист красив, потому что правдив. Он свою жизнь отжил, в землю уходит, новым листьям место готовит. Это и есть порядок.

Юрка слушал. Простые слова матери ложились на душу, как те самые листья, успокаивая мятежные мысли. Порядок. Не тот, что в бумагах, а природный, неумолимый и справедливый.

— А у тебя, сынок, какой порядок в бумагах твоих? — спросил вдруг Митрей, пристально глядя на Юрку через пар, поднимавшийся из кружки.

— Цифры сходятся, отец, — ответил Юрка, опуская глаза. — На бумаге.

— На бумаге-то они всегда сойдутся, коли захотеть, — хрипло усмехнулся старик. — А в душе сходятся?

Этот прямой удар заставил Юрку вздрогнуть. Отец всегда видел насквозь.

— Нет, — честно выдохнул он. — Не сходятся. Чувствую, как будто не на своём месте.

— Место не выбирают, сынок. Его носят на себе, — сказал Митрей, отпивая чай. — Вот я охотник был. Лучший в округе. А потом ногу медведь покалечил в 37-м. И место моё из тайги переехало сюда, к печи, к ремонту да к внукам. Тоже думал — не своё. А оказалось — самое что ни на есть своё. Потому что где ты нужен — там и твоё место. Тебе нужно? Тебя ждут? — Он кивнул на девочек, притихших и слушающих, на Любу, доливающую чай. — Вот и ответ. А чувство это... что шкура чужая... Оно от гордости. Думаешь, ты должен только то делать, к чему душа сроднилась. А долг — он посильнее души бывает. Он — как ствол у дерева. Прямой, крепкий, даже если сердцевину точит.

Юрка слушал, и слова отца, тяжёлые и мудрые, как камни, ложились в основание его смятения, создавая что-то вроде фундамента. Он смотрел на руки отца, лежавшие на столе — руки, которые могли одним метким выстрелом остановить лося, а теперь дрожали от старости, но всё так же уверенно держали нож, строгающая лучинку для растопки. Эти руки приняли свою ношу. Может, и ему пора?

— Дед, — тихо спросила Алёнка, поднимая голову. — А тебе страшно было, когда медведь напал?

Митрей посмотрел на внучку, и в его глазах промелькнула тень давнего ужаса и давней же отваги.

— Страшно, нылукёй. Очень. Но страху времени не было. Надо было жить. Для бабки твоей. Для отца твоего, для дяди Пети. Вот и всё. Когда не для себя, а для своих — страх отступает. Остаётся дело.

Это был самый главный урок. Не геройский, а житейский. Страх отступает, когда есть «для кого». У Юрки это «для кого» сидело сейчас тут, в этой горнице, пило чай и смотрело на него большими, доверчивыми глазами.

Перед уходом, когда девочки уже одевались, Митрей позвал Юрку к маленькому оконцу, выходящему в огород.

— Видел я наемднн Артемича-старосту. Сказывал, из райцентра бумага пришла. Тебя, вишь, на совещание в конце месяца вызывают. Хвалить будут, — старик усмехнулся, но без злобы. — За перевыполнение. Значит, шкуру-то свою носишь не зря. Только не забывай, сынок, — он положил тяжёлую руку на плечо Юрки, — кого ты за этой шкурой прячешь. Их. — Он кивнул в сторону семьи. — А не себя. Ради них и носи. А своё... своё оно никуда не денется. Вон, на Шомвукве<sup>8</sup>, лис тот рыжий, с плюмажем, всё похаживает. Красивый. Настоящий. Когда-нибудь, глядишь, Алёнке покажешь. Не для промысла. Для души.

Они шли обратно. Туман теперь казался не просто явлением погоды, а частью того покрова, что окутывал их жизнь — местами холодного и сырого, но под которым бился тёплый, живой пульс семьи, рода, дома. Машка что-то щебетала Любе, Алёнка шла рядом с отцом, взяв его за руку.

— Бате, — сказала она, глядя прямо перед собой в темноту.

— Что, дочка?

— Я поняла. Дед — как корни у нашего дома. А ты — как стены. И туман этот... он снаружи.

Юрка крепче сжал её маленькую, тёплую ладонь. Да. Туман — снаружи. А внутри — тепло печи, мудрость отца, тихая сила матери, смех дочери и спокойная уверенность жены. Его новая шкура, тяжёлая и неудобная, была этими самыми стенами. И ради того, чтобы внутри было тепло и светло, он будет их нести. Как носят свой дом. Как носят свою правду. Утро началось не с тумана, а с пронзительного, хрустального звона — это Машка, высунувшись в сени, стучала ложкой по промёрзшему краю деревянного ушата. Юрка проснулся от этого звука, и первое, что ощутил — не привычную свинцовую усталость, а странную, почти забытую лёгкость в мышцах. Вчерашние слова отца, тяжёлые и мудрые, как булыжники, уложились куда-то глубоко, образовав нечто вроде твёрдой почвы под ногами. Он потянулся, кости хрустнули с удовлетворительным звуком.

В избе уже гудело жизнью. Люба, стоя спиной к нему у печи, мешала в чугушке что-то густое, дымящееся паром. Запах жареной ржаной муки, топлёного масла и цикория — «утренний кофе» бедняков — наполнял горницу. Алёнка, уже одетая, аккуратно заправляла свою кровать у стены, а Машка, та самая, что будила ушат, теперь с визгом носилась вокруг стола, дразня кота Василия клочком мочала.

— Уснул, как сурок после спячки, — обернулась Люба, и в её глазах играли весёлые искорки. — Петро уже час как тут, в сенях мёрзнет, боится потревожить начальственное отдыхание.

Юрка фыркнул, сбрасывая с себя одеяло. Холодный воздух ударил в тело, заставив взбодриться.

— Какой там начальственный... — проворчал он, натягивая портки. — Пусть заходит, чего стесняется.

---

<sup>8</sup> Посёлок в Княжпогостском районе Республики Коми.

Дверь в сени тут же приоткрылась, и в проёме показалось румяное от мороза, улыбающееся лицо Петра. Младший брат вырос за эти годы, расправил плечи, но в его светлых, чуть раскосых глазах всё так же прыгала озорная, мальчишеская искра.

— Здравствуй, брат! — громко, с неподдельной радостью выпалил Пётр, переступая порог. На нём был поношенный, но тёплый полушубок, за спиной — старый, выдавший виды бердан, а в руках он держал две пары лыж, связанные ремнём. — Выходной у тебя, говорила Люба. Не откажешься, думаю, по старой памяти, за рябчиком сходить? К свадьбе гостей кормить надо, а у нас, кроме солонины да крупы, маловато. Да и... — он чуть смутился, — соскучился я по лесным делам с тобой. Всё один да с отцом, а отец нынче больше советами руководит, чем вперёд ходит. Юрка почувствовал, как в груди что-то тепло и щемяще отозвалось. Этот порыв, эта простая мужская радость от совместного дела — вот чего ему так не хватало в конторе среди бумаг.

— А ружьё-то своё забыл? — спросил он, уже улыбаясь в ответ, кивая на отцовский бердан за плечом у брата.

— Моё-то... ствол заржавел, чищу, — махнул рукой Пётр. — Да и этот — верный. Тятя благословил. Говорит, с ним ты царя-глухаря в прошлом году упустил, так пусть теперь научишься попадать.

Старая история, произошедшая ещё до всей истории с Белым, уже не вызывала горечи, а стала семейной шуткой. Юрка лишь покачал головой.

— Ну, раз отец благословил... Ладно. Дай позавтракаю, соберусь.

Завтрак прошёл шумно и быстро. Машка тут же прицепилась к дяде Пете с расспросами про зверей, Алёнка тихо наблюдала, а Люба, положив перед Юркой миску с дымящейся кашей-затирухой, сказала просто:

— Смотрите, чтоб к сумеркам назад были. И Петро, ты за ним смотри — он от бумаг отвык, в сугробе запросто увязнет.

— Будет исполнено! — с комической серьёзностью отрапортовал Пётр, отчего Машка залилась звонким смехом.

Сборы были недолгими. Юрка, надевая старую, просмоленную малицу, ощутил знакомый, родной вес промысловой одежды, запах дыма и леса, вьёвшийся в кожу. Он взял свой собственный карабин — лёгкий, верный, не раз выручавший. Проверил, туго ли набит патронташ. Ощущения были странными: будто надел не просто одежду, а часть самого себя, оставленную три года назад.

Они вышли во двор. Ночь сковала землю крепким, прозрачным настом, снег хрустел под ногами звонко, по-праздничному. Туман почти полностью рассеялся, небо было чистым, жидким, бледно-голубым, и от этого всё вокруг казалось вырезанным из хрусталя — почерневшие избы, заиндевелившие деревья, синяя даль леса за рекой.

— Куда думаешь? — спросил Юрка, прилаживая лыжи.

— На старуху-ель, что у Чёртова озера, — оживлённо ответил Пётр, уже вставляя палки в ремни рукавиц. — Там на днях следы видел, целая табунка рябков кормилась. И глухарь, кажись, один похаживает, старый, матёрый. На слух брал.

— На слух — это хорошо, — одобрительно кивнул Юрка. — Но помнишь, что отец говаривал?

— «Видеть мало, надо быть готовым», — как отрезал Пётр, и в его голосе прозвучала не зубрёжка, а настоящее понимание. — Помню. Не подведу.

Дорога на озеро шла сначала по деревенской улице, потом через поле, уже припущенное первым снегом, и наконец — в густой, молчаливый ельник. Лыжи мягко шуршали по насту, дыхание стелилось густыми облачками. Шли молча, прислушиваясь к лесу. Для Юрки этот выход был больше, чем охота. Это было возвращение в язык, который он начал забывать. Он

впитывал звуки: сухой треск ветки где-то справа (сойка или белка), лёгкий шелест падающего с ели снега, далёкий, почти неуловимый писк синицы. Глаза сами собой выхватывали знаки: свежий погрыз на осине — работа зайца, чёткий, двойной след куницы на открытом месте, уходящий под валежник.

Пётр шёл впереди, легко и уверенно, но не так, как когда-то сам Юрка — с бездумной удалью. Нет, в его движениях была уже взрослая, выверенная осторожность, умение читать местность. Он обходил буреломы, не ломился сквозь чащу, часто останавливался, прислушиваясь. Гордость за брата теплой волной накатила на Юрку. Мальчишка вырос. Стал настоящим таёжником. Через час хода они вышли к озеру — не большому, скорее, огромной лесной луже, теперь скованной первым, ещё тонким, темным льдом. У самой кромки воды, на берегу, возвышалась та самая «старуха-ель» — громадная, скрюченная временем и ветрами, с могучими, мохнатыми лапами, почти лежащими на земле. Под ней земля была усыпана хвоей и шишками, обронёнными клестами.

Пётр поднял руку, остановился. Юрка замер следом. Минуту, другую они просто стояли, растворяясь в тишине. И лес начал оживать. Сначала послышался тот самый, сухой, шелестящий звук — рябчик, перебирающийся по ветвям в глубине ельника. Потом ещё один, чуть левее. Пётр медленно, плавным движением снял с плеча ружьё, кивнул в сторону густых зарослей молодых ёлочек. Юрка ответил кивком: «Иди, я прикрою с фланга». Это был старый, отработанный ещё с отцом приём.

Охота началась. Она была не азартной, а сосредоточенной, почти медитативной. Юрка, затаившись за стволом старой берёзы, наблюдал, как Пётр движется — не прямо на звук, а по дуге, используя каждый пригорок, каждый куст как прикрытие. Его фигура то появлялась, то исчезала в серо-зелёной хвое. И вот — резкий, но негромкий выстрел, от которого с ближайшей ели осыпался иней. Через мгновение — второй. Потом тишина.

Пётр вышел на открытое место, держа в руках двух крупных, пёстрых рябчиков.

— Двое, — коротко, но с неподдельным удовлетворением в голосе сказал он. — Третий улетел, в чашу.

— Чисто взял, — похвалил Юрка, подходя. — Не спугнул. Вижу, наука отцовская не пропала.

Пётр улыбнулся, чуть смущённо.

— Теперь, брат, твоя очередь. Глухаря-то я только слышал. А взять... Тут уже твоя школа нужна.

Они обошли озеро, вышли на высокий, сухой бугор, поросший редкими соснами. Здесь, на припорошенной снегом земле, виднелись крупные, характерные следы — глухариные. Петя показал на них глазами. Юрка кивнул. Всё его существо, всё внимание сжалось в одну точку. Он снял лыжи, воткнул их в снег, дал знак брату оставаться на месте. Дальше была та самая, забытая за три года, почти священная процедура выслеживания. Каждый шаг — с оглядкой, с прислушиванием. Он не просто шёл — он стелился, становился частью пейзажа. Глаза выхватывали малейшие детали: обломанную на высоте груди ветку, клочок тёмного помёта на камне. Уши фильтровали шумы, отделяя ветер от возможного движения. И вот он — чуть слышный, скрипучий звук, будто кто-то осторожно сдирает кору. Знакомый до боли звук глухариного кормления.

Юрка замер, как влитой. Сердце билось ровно и сильно, но это был не тот слепой, оглушающий гул, что когда-то заставил его дрогнуть. Это был чёткий, рабочий ритм. Он медленно, миллиметр за миллиметром, повернул голову. В двадцати метрах, под разлапистой, низкой сосной, на земле, копошилась большая, тёмная, почти чёрная птица. Глухарь-токовик<sup>9</sup>. Старый, умный, с седыми перьями у клюва.

---

<sup>9</sup> Самец глухаря во время брачного ритуала.

Юрка так же медленно поднял карабин. Приклад лег в плечо знакомо, как родная кость. Щека прильнула к холодной ложе. Весь мир сузился до мушки и массивной, тёмной груди птицы, ритмично покачивавшейся в такт клеванию. Дыхание замерло. Он поймал момент, когда птица на секунду застыла, насторожившись. Плавный выдох. Палец не дёрнул, а нажал — мягко, неумолимо.

Выстрел грохнул, разорвав лесную тишину. Глухарь дёрнулся, взметнулся на полметра и рухнул набок, сбив с ветки снежную шапку. Тишина вернулась, но теперь она была другой — полной, завершённой. Юрка опустил ружьё. К горлу подкатил комок. Он сделал это. Не просто добыл зверя. Он вернулся. Вернулся к себе. К тому парню, который умел читать тайгу и разговаривать с ней на одном языке. Пётр подошёл, его глаза сияли.

— Вот это да... В самого корня, чисто. Я и не видел, откуда ты взялся.

Юрка молча подошёл к добыче. Глухарь был великолепен. Крупный, тяжёлый, с переливчатым, тёмно-бронзовым оперением. Он бережно поднял его. Тушка была ещё тёплой.

— На свадебный пир, — тихо сказал он. — Главному гостю.

Обратный путь был лёгким и радостным. Несмотря на тяжесть добычи, они шли быстро, переговариваясь урывками, делясь впечатлениями. Пётр рассказывал, как выслеживал рябков, Юрка давал советы, поправлял какие-то мелочи — не начальственным тоном, а братским, охотничьим. Лёд, сковавший его душу за конторским столом, таял с каждым шагом по родному лесу.

Уже на подходе к деревне, когда сквозь деревья замаячили первые избы, Пётр, немного помолчав, сказал:

— Спасибо, брат. Что пошёл. Я... я немного трушу, признаться. Свадьба ведь. Ответственность.

— Вся жизнь — ответственность, — ответил Юрка, глядя вперёд на дымки из труб. — Ты справишься. У тебя Анна — девка умная, добрая. И семья у тебя есть. Мы все рядом.

— Да, — просто сказал Пётр, и в его голосе послышалась твёрдость. — Вместе.

Они вышли на околицу. День уже клонился к вечеру, небо на западе розовело. В их избах, наверное, уже зажгли огни. Охота закончилась. Они несли домой не просто мясо. Они несли уверенность, простую мужскую радость от хорошо сделанного дела и тихое, глубокое понимание, что какие бы шкуры ни приходилось носить в жизни, под ними всегда остаётся тот самый, настоящий человек.

— Слушай, Петро, а заходите к нам к ужину, посидим чайку пошвыркаем, — предложил Юрка, сбрасывая лыжи у калитки своего двора. В голосе его звучала непривычная для последнего времени лёгкость, почти беззаботность. — Добычу свою покажем, Любу потешим. Да и тебе, жениху, отдохнуть перед заботами надо.

Пётр, снимая свою пару лыж, засмутился на миг.

— Да я не хочу стесняться... У вас свой вечер, дети...

— Какие стеснения! — махнул рукой Юрка, уже открывая дверь в сени. — Свои люди. Да и девчонки соскучились по дяде Пете. Пойдём, пока не остыли.

Тёплый, густой воздух избы обнял их, как вторая кожа. В горнице уже горела лампа — не коптилка, а настоящая, со стеклянным колпаком, выменянная в прошлом году на пару соболей. Свет её был мягким, жёлтым, и в нём всё казалось уютным и незыблемым: грубый стол, покрытый скатертью, полки с глиняной посудой, расшитые полотенца на стенах.

Люба, услышав шаги, вышла из-за перегородки, вытирая руки об фартук.

— О-ох, гляньте, какие добытки пожаловали! — лицо её озарилось широкой, тёплой улыбкой. — Ишь, нагрузились. На всю зиму запасли?

— На свадебный стол запасли, — с гордостью ответил Юрка, выкладывая на лавку тушку глухаря. Петр, чуть робея, положил рядом своих рябчиков. — Петро молодцом — двоих рябков снял чисто, даже не вспорхнули. А этого старика, — он кивнул на глухаря, — уже моя работа.

Люба подошла, внимательно оглядела добычу, кивнула с одобрением.

— Хорошая птица. Жирная. Петро, молодец, глаз-то твой уже отцовский. Анне покажешь — порадуется. А теперь давайте раздевайтесь, замерзли же. Самоварчик я уже поставила, сейчас закипит.

Дети, услышав голоса, высыпали из-за печки. Машка, как всегда, первая.

— Дядя Петя! А вы кого убили? Ой, какой большой! — её глаза округлились при виде глухаря.

— Это глухарь, — серьёзно объяснил Петр, наклоняясь к племяннице. — Он такой умный, что, когда токует — ничего не слышит. Поэтому его так и зовут.

— А ему не больно? — тихо спросила Алёнка, глядя на птицу уже не с восторгом, а с детской жалостью.

— Не больно, — мягко сказал Юрка, проводя рукой по её волосам. — Он теперь накормит много людей. На свадьбе дяди Пети. Это его дело.

Пока мужчины снимали верхнюю одежду и мыли руки у медного таза, Люба хлопотала у стола, доставая из печи чугунок с тушёной картошкой и грибами, ставя мёд, варенье из морошки, краюху чёрного хлеба. Запах еды смешивался с запахом хвои от лыж и морозного воздуха от одежды — получался особый, праздничный, мужской запах удачи. Сели за стол. Самовар, действительно, уже дружно гудел на столе, выпуская струйку пара. Люба разливала чай в толстые, гранёные стаканы, ставила перед каждым.

— Ну, рассказывайте, — сказала она, садясь рядом с Юркой и беря в руки свою кружку. — Как там в лесу-то? Тихо?

— Тихо, — ответил Юрка, отпивая горячий, сладкий чай. Горечь усталости смывало, как волной. — Как в храме. Только ветер в вершинах да снег с веток падает. А Петро — он, я смотрю, настоящим промысловиком стал. Тихо ходит, след читает, терпения — на троих.

Пётр покраснел от похвалы, опустил глаза в стакан.

— Да что вы, брат... Я ж у вас учился.

— Учился-то у нас, а выучился сам, — поправил Юрка. — Это две большие разницы.

Разговор пошёл неспешный, тёплый, как самоварное тепло. Говорили о лесе, о приметах на зиму (шишек на елях много — к морозам), о предстоящей свадьбе. Петр, разогревшись чаем и добрым вниманием, стал оживлённее. Рассказывал, как Анна помогает матери шить себе приданое, как они с отцом Митреем начали ладить новый сруб для молодых — на краю деревни, недалеко от реки.

— Место хорошее, — кивнул Юрка. — Склон к югу, от ветра защита. И вода близко. Только фундамент поглубже надо — весной там подтапливает.

— Отец так и говорит, — согласился Петр. — Говорит, мы с ним на днях за сваи возьмёмся. А потом... потом уж моё дело, внутри обустроить.

В его голосе, когда он говорил о будущем доме, о жизни с Анной, слышалась не только радость, но и та самая взрослая, спокойная уверенность, которую Юрка с таким трудом искал в себе за бумагами. Было ясно: Петр свой путь нашёл. И шёл по нему твёрдо.

— Анна-то как? — спросила Люба, передавая Петру блюдце с морошкой. — Не смущается перед свадьбой?

— Да вроде нет, — улыбнулся Петр, но в улыбке промелькнула тень той самой, утренней недоговорённости. — Хлопочет. С матерью всё готовит. Только иногда... иногда задумывается сильно. Глаза в окно уставится и смотрит, не видит ничего. Я спрашиваю — о чём? А она: «Да так... Вспомнила что-то». И всё.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.